

СЛУЧАЙ КРЫМСКОГО МОСТА

Рассказ о реке

Я – дух; прозрачный, размером с кроху.

Причем – городской, не лесной. Это – потому так, что не могу я в пространствах один шататься. Хотя и прозрачен, я должен пастись хоть в чьем-нибудь поле зренья. К тому ж – в человечесьем. Глаза птиц, зверья – темны и скудны: в них я, как сон наяву, скоро хирею и чахну.

Однако я совсем не люблю людей. Хоть я без них – никуда и ничто. Они для меня – нужда, тоска творящая; безвыходная, как труд урожая – питающая нагрузка.

Но я не паразит; я – спутник. Люди, они мне: как прилипале – большая рыба. Как истребителю – стренога авианосца; как рысаку – стойло. Как водолазу – неудобные баллоны. Как аэростату для жизни балласт. Как планеру над вулканом – восходящие токи дыхания жерла!

Я же им – пшик и ничто ломоть; поскольку прозрачен и невесом, как вакуум.

Я дух зренья – обреченный, прозрачный. Я светоносно прозрачен и не взимаю от зренья ничто, лишь так – немного греюсь. Тепло ж для меня – натурально – воздух; как, впрочем, и для любой, даже самой скудной жизнью твари.

И вот вышло так, что только в зренья тепле мне жизнь возможна. Если вынуть надолго меня соринкой из взгляда, то я быстро остыну, как дыхание на морозе – кану соленой крупой, кляксой блика на мокром асфальте, – и никто в меня больше случайно вдруг не взглянется: чтоб оживить, запустить снова в воздух; а заслонят, затопчут, затрут: кому? с каких пор? стало вдруг нужно – пристальным следопытом клониться к земле, – то ища, что никто не видит. – Исчезну.

Потому я обычно порхаю маркой летучей «Л. Голландца», курсирую наобум, слоняясь без порта приписки во взглядах людей; шныряю проворной частицей их зренья в предметной толпе, – зайчиком уличного фонаря от дребезжащей гулом трамвая витрины – бликую, мотаюсь, как морось, как пыль пустоты, – тесним их движеньями, лесом их жестов. То там – прилеплюсь, то здесь – повишу-повисну, или – незримо блесну остановкой, как парус – стремлением в море: лишь бы зренья луч блуждал на мне и вокруг – живой и ясный.

Вечерами я допоздна слоняюсь в людных местах: в электричках, вокзалах, кафе, ресторанах, театрах, концертах... А ежели где загощусь в жилище, то греюсь тускло в хозяйской бессоннице ночью. И если сморит хозяина сон, не теряюсь: хватаю перо сновидения и впархиваю с ним отрывком незренья под веки.

Иногда со мной происходят случаи. Случаи происходят со всеми: и с духами в том числе. Точнее – я в них совсем не от любопытства случаюсь втянут. Любопытство, сметаемо ужасом, исчезает, как только я чую неотвратимость...

Иногда мне даже кажется, что я чуть не сам – Случай. Или – какая-то безвольно зрящая часть его, провокатор. Происходящее мне не подвластно, но время от времени я чувствую: я закваска. Случая кристалл как-то находит меня, как вещество раствора – осколок, крупинку затравки, – и начинает расти вокруг своим стреми-

тельным происхождением. И тогда мне становится не по себе, словно я – способный к страху мизер-взрыватель. Или – еще точнее – птичка-алмазная-невидимка, непоправимо встрявшая в турбину происходящего: мне хоть бы хны, а пике уже где-то внизу, ревя и вонзаясь, рвет плоть атмосферы.

И, конечно, почуяв такое, мне хочется тут же деться. Смыться и кануть. Но не могу. Масса кристалла стремглав уловляет меня в свою сердцевину, и, обездвижен, я дико вижу бродящий вокруг, сквозь меня собирающийся гуще и гуще, пылающий фокус. Лучи истребления – пучки вероятий – навыворот нижут меня, кружа, разрывая, как магнитное поле сбрендивший полюс. Вероятия – кровь и плоть Случая – неумолимо сгущаются до происхождения ангела. Недвижим, немо охвачен, облаплен лучистыми шкурами Пана, я так же вижу ангела, как паралитик видит у изголовья одра – своего двойника-убийцу.

Он, ангел, – голограмма, прошедшая через меня, как сквозь хрусталик, семечку зренья. Он – эфемер, который был соткан преломлением моей бестелесной плоти. Я вижу поодаль бесскорбный лик незримого Случая и, полнясь жутью, как река половодьем, молю его о пощаде...

Но скажите, что может дух зренья предотвратить, кроме собственной жизни? Вот, к примеру, какая катавасия стряслась со мною недавно.

Какая это неправда – не знаю, одно непреложно: сам видел. Так что – судите лично: ну что тут я мог поделывать?!

Тем летом мне приспичило слоняться ночами по электричкам. Жара в июле стояла нерушимо и невозможно, подминала и обкладывала пластинами парного воздушного чернозема город.

Духота сипела, сопела и отдувалась пыхающими мехами слоистого смога, – теребя и качая их, как жирный любовник – брюшные складки по-над раскинутой девкой-столицей. Дней десять кругом парило без продыху и никак не могло разведриться. Москва охала, млела, потела, слабела и рвалась дать голой по улицам деру.

Вот и я, обложен духотой, как волчара кумачом в пекле облавы, весь июль сгал с утра за границы МКАДа. Дальше жал срочно над лесом за город подалее, держа в отдаленье забитые дымом шоссе, – искал водоем где почище, и там – у воды и в воде – обретал наконец столь желанный продых.

Хотя и пуст я, как космоса глоток, но все-таки воздух – моя стихия, и грязный и душный – он мне отравя: в испарениях я как бы теряю прозрачность, и это мне – вроде астмы.

Особенно тогда мне приглянулся Клязьменский водохраниль: простор не чета речному, да и людно к тому же: поселок, яхт-клуб, станция «Водники» рядом. По-говаривали, есть опасность воспламенения торфяных полей под лесами Шатуры, – вот я и брал к северу от Москвы – от юго-востока подалее.

День навывлет я пробавлялся над пляжем, временами нежил себя в брызгах детских игрищ на мелководье, и когда в сумерках округа пустела, гнался тропинками на ж.-д. платформу.

На благословенный последок пофланировав над платформой, я впархивал в форточку подходящего поезда. А там – раздолье: ежедневные дачники (вымиравшие зимой до редких субботне-воскресных), купальная молодежь, туристы; вагон умеренно полный, проходы вполне проходимы, и в открытые форточки отдохновением мчится вечерняя свежесть, напирая обильно набранным ходом.

Так – до самых последних электричек, перепархивая в ближайший по расписанию, я блаженно катался обычно между Савелой и Лобней. Далее – либо перебирался в депо, ночуя над головами третьей ремонтной смены, либо – рвал по улице Чехова в центр, – где у меня на бульварах имелся один бессонный знакомец...

И вот в чем, собственно, дело. Однажды на Новодачной, в пустой почти вагон забурилась компашка.

Трое. Один – здоровенный битюг, заглавный. Двое других – лет двадцати. Сели в свободном купе порезаться в сику.

Я околичивался в это время вокруг длинноносой старухи, дремавшей над сложенным на коленях аккордеоном.

Чем-то один меня зацепил, и я решил разобраться.

Махнул от сонливой старухи, помельтешил для начала у каждого в зенках – и повис над карточным полем.

Играли на жестком цветном журнале, подставив от каждого по коленке.

Сначала все было покойно. Я даже увлекся игрой.

Один, молодой, загорелый, вихрастый, слегка похожий на девчонку, – часто проигрывал, и видно было, что дальше играть ему неохота.

Старшой, с черной страшной, как у ротана, башкой, молчал и, жестко быкуя, метал раз за разом.

Другой, по кликухе Чума, с грязными патлами в хвост, надсмехаясь, называл третьего, младшего – Дусей: «Дуся, на! Дуся, ша!» – приговаривал он, выкладывая с прихлопом карту.

Старшой помалкивал и, делая по три вжика, тасовал «гребенкой» колоду. Будучи грозен и хмур, однако не дергался и был, в общем, спокоен. Только раз хватанул Дусю за плечо, когда тот, сдув по новой, рванул было на выход...

И еще – какое-то злое, озорное веселье один раз перекосило тритонью, сплюсненную к губам, башку Старшого...

Перед последней раздачей я понял: ага, началось – и больше уж не был в силах помыслить. Случай потоком хлынул в меня – и обволок, леденя...

Карты мехами дунули в горнило моих вероятий и, жажнувшись друг об дружку, убрались спешно в окно. Стопка колоды, на ветру обернувшись гирляндой, маханула на три вагона, у четвертого потеряла строй и попадала врассыпную, крутясь и белея в колесах, как обрывки нечитанных писем...

Вступил Старшой.

Он взвинченно встал и сутуло прошелся по вагону – руки в карманы – туда и сюда, дурачки мелко кивая страшной башкой, как голубь.

Сел обратно. Чума от испуга рванул пересесть на скамейку к старухе. Та крепко спала, накрывшись большим грустным носом.

Почуяв Чуму, старуха дернулась ото сна. Аккордеон, протяжно скользнув половиной с коленки, дал басовую ноту.

– Слышь, пала. Ты знаешь че, пала. Ты проиграл, – просипел Старшой.

– Я проиграл, – подтвердил Дуся.

Старшой закурил. Старуха, вняв воню, обернулась в их сторону.

– Тиха, бабуля, – шепнул ей Чума.

Старшой нагнул ближе.

– Слышь, пала. Лоха замочишь.

Дуся кивнул.

– Чума, глаза мои, позырит.

Кивнул еще.

– Ну, лады, – Старшой поднял на кулаке граненый перстень, вроде кастета.

Дуся мотнул головой.

Кулак не опускался.

Чума срочно пересел обратно и испуганно чмокнул печатку.

На Савеловском последние стайки пассажиров спешили кто куда: во дворы на Бутырку, в ждущий троллейбус, на Масловку под эстакаду, но большей частью в метро. Платформа срочно освобождалась.

Милиционеры хлопотно поднимали с путей какого-то человека. Люди спешно оглядывались, не останавливаясь, боясь не успеть на последний транспорт.

«Поливалка», проползая по обочине, брызжа в два уса лохматой водой, кувыркавшей крупный мусор, была похожа на майского хруща. Торопясь забраться в горящий троллейбус, пассажиры лезли под струи.

Вокзальная площадь вскоре опустела.

Москва остывала, отдуваясь снизу теплым влажным асфальтом, словно легонько махала себе на ноги подолом.

Старшой держал Дусю за локоть и отпустил у входа в метро.

Он снял с запястья толстые водолазные часы. Вглядевшись, отдал большим пальцем неполный виток на циферблате. Затем протянул Дусе.

Дуся взял, выпрямил спину.

Тем же жирным пальцем Старшой провел, до крови чертя ногтем, по застывшему кадыку проигравшего.

Дуся стоял, чуть подавшись вперед.

Патруль милиции спустился мимо в метро, волоча под руки окровавленного мужчину.

И тогда Старшой ударил.

Чума отскочил, озираясь на уличные фонари, на пустые киоски, на освещенное крыльцо вокзала.

Старшой подсел на корточки к Дусе:

– Не залупись, пала.

Нависнув, оторвался и валко тронул в темень тоннеля, ведущего под эстакаду.

– Глубже воздух хавай, – советовал дорогой Чума.

Корчась от загнанной под диафрагму ржавой пружины, Дуся достал из кармана часы и надел их на руку.

Браслет болтался, как обруч на гимназистке.

Свет в вагоне метро стоял словно на глубине – вполовину яркости. Неясный воздух мерцал, танцевал, хлопал жаброй – от бликов бегущей по потолку ряби.

Раскаленный камень удара ворочался, как живой, в солнечном сплетении.

Переход на «Библиотеку» был уже закрыт и пришлось, умирая, карабкаться по – и вниз мукой восставших лестниц.

Дальше?

Дальше – поезд мог не прийти, но пришел – пустой, последний.

Последний настолько, что – без расписанья...

А есть ли в метро вообще что-нибудь вне распорядка?

Дальше?

Дальше была лысая женщина. Лет сорока. В пустом хвостовом вагоне.

Светлое, заношенное платье спускалось по неясному телу, как по неготовой лепке – мешочное покрывало.

Пятна от травы, россыпь впившихся в ткань запятых репея.

Женщина была на сносях, к тому же – на самых крайних.

Охваченный узкими ладонями, живот громоздился отдельно от тела над разведенными коленами: как тюк, как охапка жизни, как медленный взрыв, созревший под сердцем.

Женщина изможденно спала. Мертвое ее лицо не видело снов. Напор предельной скорости кидал вагон, прошивающий близкую плотную темень, словно паденье – коляску по лестничным ступеням. Бешеными змеями метались ряды кабелей в окнах.

Изнутри поезд походил на длинную оранжерею, составленную из объемных теплиц пустых зеркал, нанизанных друг в друга на стеклянную шахту тусклой, мигающей перспективы.

По пустынному поезду то и дело прокатывалась волна мрака: свет отчего-то пропадал по цепочке – в каждом вагоне поочередно. На станциях никто не входил. На платформах медленно вдоль платформы горбатились полотеры, толкая тачки машин, как рабы – кубатуру для пирамиды.

Казалось, от мигания света лицо женщины плясало гримасой.

От упругого поршневого хода воздух в тоннеле, не успевая податься вперед, сжимался по стенкам до плотности урагана, выл и ревел, кидался и бился горным потоком, пропавшим на время в теснине обвала; иногда к стеклу прибивались утопшие в нем подгорные духи.

Я метнулся в сторону глянуть в Чуму.

Чума длинно сплюнул:

– Тяжелая баба...

Разогнувшись, Дуся тяжело прошел по вагону и лег на сидение. Он смотрел на женщину и почему-то чувствовал в ней свою разбухшую душу.

Боль схлынула, он чуть продохнул. Ему странно казалось, что душа его скорбно стоит над ним и, как мать, жалея, гладит теплой ладонью воздух над животом; бережно перебирает сплетения боли внутри и прочь вынимает камень. Дуся закрыл глаза, чтобы увидеть мать, но увидел внутри только желтую ветреную тьму, в которой, однако, было покойно и сонно.

Вдруг поезд сбросил скорость, и мертвая голова, полная грома и гула галопа, оторвалась от тела, колотившегося на бегу за кобыльим хвостом, и покатилась свободно по полю, глуша верчение о щелкающую стерню.

Застыла навзничь. Качнулась.

Обернувшийся лицом Старшого, всадник шагом вернулся.

Цепляя на пику кочан, взгляделся.

Дуся не выдержал взгляд, распахнул глаза, сел. Поезд катил, затухая, по светлomu павильону метростроевского моста мимо заброшенной станции «Воробьевы горы».

Хотя и не было здесь остановки, состав встал над Москвой-рекой.

Чума протяжно харкнул в конец вагона:

– Попали...

И тут мне приспичило оглядеться. Я рванул наружу и ввинтил семь витков вдоль метромоста.

Московская округа взмыла омутом и опрокинулась подо мною. Оправленная в дюраль капсула станции мерцала над рекою ночи слабым, дробным накалом, как неисправная неоновая вывеска. Поданным в ствол патроном поезд стоял в ее оболочке. Сзади белокаменной гроздью поднимались настороже башни и церкви Девичьего монастыря. Внизу по маслянистой темени реки шел теплоход, груженный воплями, шлягером, огнями мигающих танцев. Лапута громадного стадиона висела над темной массой парка, вращаясь горящими по периметру сторожевыми кострами.

За рекой и лесистым откосом, взмывая в прожекторах, целилась в Луну ракета высотного Университета.

У берега я заложил петлю, чиркнул по лыжному трамплину на склоне, дал «бочку» и стремглав прочертил обратно.

Верхнее веко Дуси еще не сомкнулось с нижним.

Женщина, не просыпаясь, застонала.

Поезд стоял.

По необжитому после ремонта перрону сосредоточенно бежала дворняга. За ней иноходью гнался рослый кобель. Выпростанный из шкуры красный кусок, как припрятанная «финка», был несом им под брюхом. За кобелем быстро-быстро семенил другой песик, вдвое меньше суки, но с той же целью: с той же алой ужимкой в паху.

Пропали.

Женщина зашлась воем, будто кто-то в ее сне стал опускать гроб в могилу.

Она заполошно орала всем телом, хватала живот руками и, уминая, пыталась прижать к груди, не отдать.

Вой раздирал надвое ее круглый облик.

От испуга Чума подскочил и ударил ее по лицу.

– Заткнись, лярва, ногой ударю.

Как колокол в звоне, женщина раскачивалась среди густого воя на сидении и вдруг стала мелко подрыгивать в пол раскинутыми ногами. Живот колыхнулся спазмом и пошел сдуваться волна за волною.

Тяжкие синие воды хлынули вместе с кровавыми водорослями под ноги Чумы, и он, повисев мгновение в немоте, искаженно зашелся струей блевоты.

Отброшенный залпом тошноты, он больше не мешал Дусе.

Размеренно поднявшись, Дуся опрокинул навзничь пьяную бабу и расправил под нею подол.

Схватки брали тело, как припадки землетрясения горную местность.

В сумерках близкого обморока Дуся нащупал ладонями тельце и, зажмурившись, потянул на себя.

Чуть погода, недоносок вывалился из нее, как колтун перекасти-поля – из оврага к костру на стоянке, – и вспыхнул, ожегшись о воздух, гиблым смертельным криком.

Что делать с пуповиной, Дуся не знал.

Он поднял человека за ноги и потряс, как утопшего, на весу.

Остывшая было баба вдруг тряско забилась падучей дрожью и кротко затихла, открыв навсегда глаза.

Дуся положил на нее ребенка и вытер о платье руки.

Женщина лежала пронзительно зряче: убиенно раскинув члены, она падала вниз плашмя, увлекая с собой все, что видит – там, в пустоте.

Орущий с похмелья новорожденный ерзал по мертвой матери, держась пуповины, как привязи.

Женское лицо, немислимо вспыхнувшее напоследок острой красотой – сквозь испитую маску жизни, шло на убыль, застывая в выражение безразличия.

Дуся двумя пальцами достал из носка «выкидуху».

Щелчок вставшего лезвия, цок лопнувшей кожи, свист о ребро, притоп рукоятки, достигшей упора.

Он обернулся к Чуме. Чума выворачивался в три погибели, хотя уже было нечем: хрипел и плевал, не во власти оправиться от впечатленья и вони.

Дуся метнулся к нему и хватанул его волосы в жменю. Чума заорал.

Дуся приплел его к роженице, как осла за узду, – за патлы.

– На колени.

Чума тянул его руку двумя на себя, чтоб ослабить рвущее скальп движенье.

– На колени, – Дуся ткнул кулаком, обмотанным волосами, в потек на полу. Прядь лопнула, закурчавилась по запястью.

Чума вдарился лбом, заплевался кровавой слизью.

Дуся поднял его чумазое лицо над женщиной и ребенком.

Девочка уже не могла кричать. Морщась, она лежала ничком у матери на животе – над своей ямой – и неполно держала кулачком рукоятку ножа. Другой кулачок разжимался пульсом...

– Что видишь?

– Убита-а-а...

– Кто ее убил?

– Ты-ы...

– Я ее убил. Ты видел.

Дуся даванул его зубами в материнский подол:

– А теперь пой.

Чума плакал.

– Пой, сука.

Дуся сам встал на колени и негромко запел:

– Ма-ма, ма-ма, ма-ма...

Поезд стоял.

Помощник машиниста шаркнул по громкой связи: «Сейчас поедem». И, не вырубившись, крикнул кому-то: «Сергеич, ну что там, скоро?»

Чума рванулся с колен, ревя: – Пусти! – и стал биться всем телом в двери, пытаясь раздвинуть створки.

Я метнулся на платформу – глянуть.

Чума вбивался в дверь за дверью, крестом распластывая руки, ища створки послабже. Его разъятое ревом лицо, вминаясь и кусая, оставляло на стекле потеки...

По перрону наискосок в щель под колеса рванула по ниточке писка крыса.

Дуся пел.

Затем встал, сдернул с руки часы и осторожно устроил на переносье трупa.

Упершись в проваленную грудь, вынул нож.

Обернул девочку на спинку и покороче полоснул пуповину.

С ребенком в руках он подошел к оползшему на пол Чуме:

– Сымай майку.

Обернутая тряпкой девочка дрожала, как вынутое сердце.

От страшного удара ногой стекло ослепло, будто первый лед от брошенного камня.

От второго удара оно прорвалось, как оберточный пергамент.

Машинист забирался с пути на платформу, подтягивая за собой расстегнутые брюки.

Еще не найдя пуговицей в хлястике дырку, услышал удары.

Двое выбрались из хвостового вагона. Голый спрыгнул на пути и бегом дернул к тоннелю. Другой, со свертком, стал подниматься по лестнице к запечатанному выходу с моста в эскалаторную галерею.

– Подонки, – сплюнул машинист и заскочил сообщать в кабину.

Рация никак не соединялась с дежуркой. Помощник сонно шарил по приборной консоли.

И тут в боковом зеркале за хвостовым вагоном треснул голубой костер: голый споткнулся в потемках о шпалу и нырнул руками вперед на контактный провод.

Бережно прижимая руки к груди, Дуся взбегал по заброшенной эскалаторной галерее над темной речной прорвой.

Прозрачная, кое-где повыбитая стеклянная темень огромно пронциалась звездной округой ночной Москвы и от волнения, словно висячий мост, дышала воздушным обмороком падения под торопливыми ногами.

Взяв «ножницами» барьер турникетов, Дуся, оберегая грудь, потыкался коленом в ряд выходных дверей вестибюля и, смеясь, обнаружил одну открытой.

Над рекой, у трамплина, на смотровой площадке шелестела над крышей патрульной машины гирлянда огней. Два мента стояли у балюстрады. Держа скворчащие рации у ртов, они всматривались вниз по склону в рощицу, окружавшую выход из тоннеля.

Если бы щелчок ракетницы длинным фыркком накинуд на вершину воздушной горы пылающий зонтик, дрожащий купол света бесполезно бы выхватил короткой видимостью – деревья, дорожки, массив парапета, полукружье речного блеска – и белую черточку: человека, мчащегося по пересеченной местности вниз по склону.

В убежище парка сушняка в темноте, хоть глаз проколи – вынь, засвети – все равно не сыскать, – и тем более что на ощупь.

Дуся набрел наконец на автодром и затем, несколько раз опасно споткнувшись об автомобильчики, – на какие-то детские вертушки. Ничего полезного здесь не находилось. Он на что-то сел в темноте и затаился. Слабые тени крались из глубины парка – сходились и вновь расходились, как в хороводе. Среди водоворотов каруселей он закружился от отчаянья неудачи, с силой расталкивая качели. Качели скрипели и, толкаясь обратно, мешали метаться.

Дуся забрался на дощатый кругляк и попробовал одной рукой отодрать с краю доску. Наконец он просто отбил ногой лошадку, бежавшую по карусельному помосту.

В будке, где помещался моторный привод кручения, Дуся подобрал огнетушитель.

Наполовину занятый ребенком, не мысля его оставить, с одной рукой дважды бегал к реке, перенося поочередно необходимое.

Крашенный облупившимся суриком, с отбитым и соструганным для растопки хвостом, конь занялся проворно – и скоро уже во весь опор пылал стоймя, клоня голову набок, будто был взят пристяжным из упряжки.

Пены из огнетушителя в речку стравилось немного: пучась и оседая, бурый облак сплавился по течению.

Сполоснув металлическую колбу, Дуся держал ее над огненной гривой конька, пока вода не согрелась.

Хорошенько обмыв девочку, он спалил грязную майку Чумы, кинув попойой ее на коняшку, и снял с себя для младенца.

Пупочек тек на ощупь слизью и был бобовой семечкой отдельно упакован в вырванный зубами из майки клочок. Костер Дуся потушил остатком воды и еще почерпнул из реки: не хватило.

Чтобы не остаться на том же месте, Дуся побрел у реки вдоль бетонного парапета. Девочка нашла, обслюнявив, его пустой сосок и больше не плакала, а он и не думал ее теребить: пусть поспит, отдохнет, ночь ведь.

Над чернотой фарватера несколько раз проплывали увеселительные трамваи; в Волгу – домой, на Бирючью косу шла река, тянула, омывала сердце.

– Интересно, – думал Дуся, отчего-то случайно вспоминая все детство сразу: дом, лето, астраханскую их ватагу, всход большой воды на майские, затопленные по верхушки деревьев острова – и то, как они вместе с отцом браконьерили на Дамчике птицу и осетров, как сандолей били в Тихом Ильмене застывших сомов; вспоминал пудовую белужью башку, которую он вез на коленях в коляске отцовского «Днепра», накрыв мотоциклетной каской...

Глядя на реку, Дуся вслух – для девочки – рассудил: «Вона, прыгал у нас на Болде пацан с мостков, а баба одна сверху течения газету, в которой белье полоскать принесла, упустила; так прыгун так в тютельку в то, что написано, темечком вдарил, что потом ему в городе шину на ум наложили, чтобы сдержать сотрясение...»

Река безмолвно, вечно стремилась к Югу.

Впереди от Москвы было не отвертеться: город выворачивал из-за деревьев и вставал, нарастая, громоздясь, ломая линию горизонта. Мосты, набережные, дома – будто на сваленной праздничным буйством новогодней елке – горели гирляндами, звездами, игрушками башен, высоток и куполов... Вдруг проступили кроны деревьев, и воздух легко опрозрачнел, беспокойно удивив внезапной проходимостью парка. Укромными сторожами появились за деревьями монастырские башни. Под бледнеющим небом стало больше пространства, и Дуся ускорил шаг.

Но спустя сто шагов – он бережно считал шаги, экономно ценя про себя свое новое будущее, – махом погас, ожидая рассвет, весь город.

Стало темней и спокойней, и Дуся тогда облегченно убавил ход.

Огляделся.

Слева над рекой нависало в лучах высотное здание – огромное, как целый поселок, составленный на попа. Дуся читал однажды газету, где писали, что здание это вроде как на мерзлоте стоит. Что тут, мол, на том берегу – под землей пльвуны, – такие нестойкие, зыбучие почвы. Из-за этих почв здесь церковь одну в прошлом веке не смогли построить: пльыл фундамент и дальше проваливался. Ну, и бросили: церковь потом вниз по течению, ближе к Кремлю пришлось ставить. А вот для этого здания отыскали способ: прогрызли котлован, в который можно было упрятать две деревни, и поместили в нем морозильные машины. Холодильники ели воздух, давили из него росу, охлаждая кругом весь нижний грунт. Машины эти сейчас охраняет в подвалах специальный отряд: если перекрыть ток, все здание сплывет в речку.

Дуся представил не внутри, а в глазах, как вместо парохода по реке дом такой плывет в ебень, и засмеялся; но тут же, боясь, что разбудит младенца, закусил до крови губу, чтобы боль помогла помнить оплошность подольше.

Девочка умерла, когда крыши оплавилась солнцем.

Дуся почувствовал, что грудь его холодеет и сердце толкается во что-то – теперь непрозрачно.

Он развернул человека из майки и осторожно потрогал.

– Ничего, будет день – отогрею, – Дуся поправил тряпочку на пупке, теснее прижал к учащенному пульсу сверток.

Весь день он проходил по городу с ребенком на голой груди. Отстояв вместе с двумя старухами перед дверями булочной до открытия, купил теплый батон и завернул его к девочке в майку: пусть греет.

Батон младенцу пришелся сверх роста, а кусок мякиша Дуся разжевал и вложил осторожно губами в ротик.

Одна старуха заглянула ему на руки – и обомлела.

Дуся спохватился, закачал на руках девочку, замычал колыбельную.

Старуха отщипнула из авоськи горбушку и зашамкала, жадно посасывая теплую пшеничную слюну и потому теряя от сытости интерес к необъяснимой ноше Дуси.

В этот день пик жары опрокинулся на Москву. Раздевшиеся пешеходы брели, прикрывая газетами солнце над головами.

Ядох от теплового удара, не в силах себя оторвать от идущего в пекле по самым солнечным сторонам неумолимого Дуси.

Идя, он рассказывал девочке жизнь, все, что в ней знал, не выбирая и без остатка. Говорил ей про волжскую Дельту, про Астрахань, про рыбака на низах, на взморье – на Харбайской россыпи, на Дамчике, на Варяге; про хлыстов-осетров и про икряных мамок; про морянку; и про то, как Стенька кидал в колодцы персидских пленниц и архимандрита – с крепостного откоса; про Каспий, соленый и теплый, как кровь; про остров Тюлений, про остров Чечень; врал про то, как взял его дядька на каботажа в Баку, и про то, какие в Иране растут лимоны, женатые на клубнике... Еще говорил он мало про то, как увяз в Москве на гастролях, уже третий год, как связался с дмитровскими гоп-стопниками, как не брезговал с голодухи тырить по Сокольникам велосипеды, сбрасывая их жлобам у универсама «Зенит»; а также про то, что Чума – он шальной, но все же хороший...

К вечеру брызнул дождик, но – в падении испаряясь, намочил только крыши: было видно вверху, как шарики воды, исчезая мутной влагою на излете, крутились, дрожали, мельчали, – как капли воды на дне раскаленной кастрюли.

По дороге Дуся зашел в «Детский мир» и купил для ребенка немного цацек: висячие погремки, водяной пистолет и огромный, управляемый радиоволнами катер – ничего, что девка, пусть растет боевой.

Резинку погремков он надел на шею, а коробку с катером обнял незанятой рукой.

Из-за скупости жизни рассказывать Дусе оставалось немного, и он теперь помалкивал, то ли экономя остававшиеся слова, то ли внимательно их сквозь себя вспоминая.

С Пречистенки снова вышли к реке. У Крымского моста посидели на парапете, глядя на изведенную солнцем округу. Иные машины, увязая в столпотворении на перекрестках, вскипали, отбрасывали капоты, словно в рот им попала горячая, дымящаяся пицца, и водители толкали их на тротуар, трудно беря бордюры с нескольких коротких разгонов.

Солнце утомилось, воздух над городом помягчел, впитав предвестие сумерек, и края домов, барельефы, фасады, косые треугольники неба над ними теперь яснее складывались в отдалении улиц в жилое пространство.

Солнце вошло в Замоскворечье, когда они добрались по набережной к подножью огромной черной статуи со стеклянной головой. Высоченный, с двадцатиэтажный дом, каменный человек с хрустальной, сверкающей головой, стоял в реке в ботфортах, держал на весу свободную от шпаги руку.

Он глядывался под нее вырубленными резцом, пустыми глазами.

Дуся оглянулся.

Безголовый черный великан незряче смотрел куда-то поверх моста, – откуда они пришли с девочкой.

Вокруг памятника врассыпную били фонтаны; к ним был устроен лестничный сход – на бетонный мысок, вдававшийся в хоровод толстых невысоких струй, который дальше по воде жался к самым ногам царя-великана.

Дуся распаковал катер и спустил на воду. Пошевелил рычажками, погонял суденышко туда-сюда, полавировал между струй, на пробу.

Потом бережно открыл ребенка и сложил его навзничь на кокпит.

Отломал от упаковки кусок пенопласта, бросил на воду и проследил за тем, как тот ведет себя на плаву. Пенопласт, затянувшись течением, покружил у ног истукана и поплыл в сторону моста.

Тогда, убедившись в направлении к Каспию, к дому, – опасно поводя рычажками, тихо пробуя мощность мотора и управление, Дуся вначале попробовал покачать девочку вдоль самого берега – только туда и обратно.

Скоро, наловчившись, он закружил катер по спирали и дугой провел вокруг огромных сапог, лихо заходя обратным путем под анфиладу фонтанов.

Убедившись в надежности судна, Дуся вывел катер на середину реки и посмотрел напоследок наверх.

Дымящееся солнце уходило в кирпичное Замоскворечье, вздымая в небо всплеск заката. Хрустальный калган истукана пылал, переливаясь радужным преломлением.

Пальцы сломали рычажок газа, и катер, привстав на дыбы, заглиссировал в сторону Волги.

Дуся подальше отбросил в воду коробочку управления и отвернулся от катера, чтобы видеть, куда смотрят теперь слепые глаза Царя, – и мельком заметил: кусок пенопласта, отдалившись от берега, повернул в обратную сторону...

Сердце заныло так, что отдалось болью в руку, словно кто-то дергал ее вниз.

Дуся несколько раз сжал и разжал кулак, и ломящее чувство отпустило грудную клетку. Он поднял вдоль статуи голову и увидел, что Царь ни черта не видит в той стороне, в которую плыла девочка: ни Волги, ни Бирючьей косы, ни моря, ни персидских сладких, как клубника, лимонов, ни жарких берегов, где девочка могла бы хорошенько погреться... – Дуся внезапно понял, что спутал с «обраткой» течение, – которое здесь, у огромных ног царя, отражалось и завихрялось вспять, в обманное направление.

И тогда Дуся прыгнул.

С открытыми в мутную темень реки глазами он нырял за коробочкой управления.

Он выскочил на набережную и, хлюпя кроссовками, помчался, отталкиваясь для разгону от парапета, все еще видя катер.

Он бежал, расталкивая пешеходов, не нагоняя.

Прямо в глазах вырос мост.

Катер пошел под ним.

И тогда Дуся закричал.

Сначала он не знал, что надо крикнуть, как позвать, какое дать имя, и вышел только вопль, который вместил в свой звук всю силу течения реки – от истока до уст.

Но он вспомнил. Он крикнул:

– Ду-уся, а я?

Катер стремительно шел из виду.

Он рванул по бетонным ступеням через бензозаправку на мост.

На мосту смердела вечерняя пробка. Он взлетел на капоты, запрыгал – но оскользнулся, и четыре водителя стали отжимать его от перил, стараясь попасть в него кулаками.

Дуся рвался вперед и подпрыгивал, чтоб заглянуть: прозрачное белое пятнышко маячило в кажимости за головами людей, пока совсем не пропало.

Пробка мычала, как не доенное стадо.

И тогда Дуся вырвался. Он вспрыгнул на тяги моста, провисшие стальными крутыми сходнями, и стал карабкаться вверх на стойку, – нагоняя речной горизонт, поднимаясь за ним все выше и выше.

Внизу крутил пальцем у виска человек, махали руками, кричали другие водители; свистел постовой и пробовал лезть за Дусей, но скоро раздумал, скатился обратно.

На стойке, на высоте выше чертового колеса, торчавшего слева из парка, сложив вокруг глаз ладони в рупор, Дуся то терял на реке, то вновь находил за поворотом крошечный белый катер...

Когда девочка исчезла, он развернулся в сторону черного человека.

Солнце зашло совсем, и царь вдруг разом стал еще чернее, будто его облили. Хрустальная голова потухла.

Теперь Дуся смотрел ему вровень в глаза.

Вдруг стекло колыхнулось последним лучом, добежавшим, отражаясь, по витринам и окнам в кривых переулках.

Дуся размазал слезы по щекам, вдохнул и сильно плюнул:

– Вот он я – залупившись, накось!

Милиционер внизу перестал свистеть и закурил, прислонившись к перилам.

Я отлетел в сторонку и, взяв разгон, шибанул со всего маху Дусю в грудь.

Обернувшись навзничь, за спиной постового он вошел вертикалью под воду.

Мент отщелкнул окурок за перила и снова задрал запревшую под фуражкой башку.

Потом здесь под мостом ныряли медлительные водолазы.

Дуся на ощупь торчал из ила по пояс, и шнурок уцелевшего от удара ботинка был зачем-то использован ими для усиления крепежа – при подъеме за ноги тела обратно в воздух.

Ноябрь, 2000